

## Человек как косвенное существо

*В.Д. Губин*

*Российский государственный гуманитарный университет, кафедра истории зарубежной философии  
125993, Москва, ул. Чаянова, д. 15а, корп. 7, каб. 385*

У каждого человека есть свой мир, наполненный знакомыми людьми и предметами, мир, где есть более или менее устойчивый набор правил поведения и общения. Его можно назвать реальным миром. Но каждый такой мир обязательно предполагает существование параллельных миров. Более того, мой мир имеет смысл и значение, если есть другие миры. Если их нет, то мой мир скуден, беден, несмотря на всю сложность, несмотря на многогранность моих переживаний относительно него, на обилие конструкций и теорий, в которых этот мир выражается.

Человек всегда пытается создавать другие миры. Мир игры — с повторением прошлого, с большим количеством жизней, с возможностью все переиграть, потому что никогда еще не поздно. Мир любви, в котором все тебя любят, уважают и прекрасно понимают твои достоинства и недостатки. Мир осуществившихся надежд, в котором ты стал миллионером или нобелевским лауреатом. Мир непреходящий, в котором все твои умершие родные живы, и ты можешь с ними общаться. Многие люди часть своей жизни проводят в призрачном, воображаемом мире, и этот воображаемый мир — вовсе не бессмыслица, не излишняя роскошь, он помогает нам принять жесткие условия реального существования, примириться с ними, переносить их.

Но все это миры, сотворенные сознанием, субъективные миры, не обладающие реальным существованием. Мы же попытаемся проанализировать миры, параллельные нашему (моему) миру, обладающие такой же степенью объективности, как и мир, который мы называем реальным. Эти миры — не продукт сознания, оно может только открывать их, но не создавать.

Чтобы их обнаружить, нужно перестать быть серьезным человеком, т.е. отказаться от привычки считать этот реальный мир единственно возможным. Человек как исполняющее и реализующее себя существо в принципе не воплотим в реальном эмпирическом пространстве и времени<sup>1</sup>.

Таким образом, существует мир, требующий серьезного отношения к нему и блокирующий все другие возможные миры. В конце концов, в жизни нет ничего серьезного, если исходить не из жизненных обстоятельств, а из нашего к ним отношения. Если мы к чему-либо относимся серьезно, значит, мы принимаем условия, навязанные нам. Серьезность требует от человека некоторой заданности, некоторой навязываемой и одновременно дисциплинирующей его логики. Для серьезности безразлично, следовать ли неизменному порядку или изменению, важен лишь не критически принимаемый

---

© В.Д. Губин, 2009.

<sup>1</sup> «Вера, будто бы мир, каким он должен быть, *есть*, действительно существует, — это вера людей непродуктивных, *не желающих созидать такой мир*, каким он должен быть. Они считают, что он уже есть, и только ищут способы и пути в него проникнуть» (Ницше Ф. Полн. собр. соч. Т. 12. Пер. В.М. Бакусева. С. 335).

принцип. Серьезность приобретает форму сложных социальных институтов, явлений, которые концентрируют в себе необходимость следования оправдавшему себя накопленному опыту. Весь официальный мир — это воплощенная серьезность. Если взрослый человек продолжает серьезно относиться к жизненным ситуациям, то про него можно сказать, что он так и не вырос, остался ребёнком.

Отказаться от духа серьезности — сложное, почти невозможное условие, это так же сложно, как «отказаться от духа тяжести, чтобы научиться летать» (Ф. Ницше). «Дух серьезности имеет в действительности двойственную особенность: рассматривать ценности как трансцендентные данные, не зависящие от человеческой субъективности, и переносить свойство «желаемого» с онтологической структуры вещей на их простую материальную структуру. Для духа серьезности *хлеб* желаем, например, потому, что *нужно* жить (ценность, написанная на умопостигаемом небе), и потому, что он *является* питательным. Результатом духа серьезности, который, как известно, правит миром, оказывается то, что символические значения вещей впитываются, как промокательной бумагой, их эмпирической идиосинক্রазией; он ставит впереди непрозрачность желаемого объекта и рассматривает его в самом себе как нередуцируемое желаемое»<sup>1</sup>.

Все вещи являются символами человека как свободного проекта. Но если он не сознает этого, то объекты выступают как немые требования, а он — как пассивное следование этим требованиям. Многие знают, отмечал Ж.-П. Сартр, что целью их поиска является бытие; и в той степени, в какой они владеют этим знанием, они пренебрегают присвоением вещей самих по себе и пытаются реализовать символическое присвоение их бытия-в-себе. Но в той же степени, в какой в этой попытке еще участвует дух серьезности, они полагают, что любое видение, любая фикция уже вписана в вещах.

Все серьезное, закрепленное в категориях, в понятиях — это только символическое выражение. Правда, чтобы это увидеть, нужно преодолеть самообман, при котором вещи и обстоятельства выглядят самодостаточными, существующими сами по себе. Чтобы это увидеть, нужен взгляд со стороны, как бы из другого мира, как бы искося, не впрямую. Нужно косвенное зрение. Например, хорошо быть, как утверждает П. Слотердаjk, косоглазым. «Тот, кто косоглаз от рождения и торит себе путь в науке, философии или политической практике, тот, кажется, уже соматически предрасположен к двойственному взгляду на вещи, к видению раздельно сущности и видимости, прикрытого и обнаженного. В этом ему способствует диалектика устройства его органа зрения, тогда как остальные мыслители, находясь в плену мифа о нормальности, охотно игнорируют тот факт, что и у них существуют два разных взгляда на одни и те же вещи, а также тот факт, что ни у одного человека не бывает двух совершенно одинаковых глаз. В глазах локализована часть нашей структуры мышления — в особенности диалектика правого и левого, мужского и женского, прямого и кривого»<sup>2</sup>.

Один и тот же человек действительно оказывается открывателем разных миров, все зависит от установки взгляда: смотреть на него снизу или сверху, прямо или искося. Если смотреть на мир прямо, наивно полагая, что это есть настоящее постижение окружающего, то вещи в таком видении предстают как застывшие, жестко очерченные, все известное и неизвестное, воспринимаемое и не воспринимаемое противостоит друг

<sup>1</sup> Сартр Ж. Бытие и ничто. Пер. В.И. Колядко. М., 1994. С. 625.

<sup>2</sup> Слотердаjk П. Критика цинического разума. Пер. А.В. Перцева. Екатеринбург, 2001. С. 176. Ж.П. Сартр, кстати, был косоглазым. Может быть этим частично обусловлена глубина его философского зрения?

другу абсолютно, без посредников и оттенков. Вещи как бы кичатся своей отстраненностью и недоступностью.

Но можно посмотреть и по-другому, искоса. В творчестве Гоголя, пишет В. Подорога, птицы, животные, люди глядят не прямым взглядом, глаза в глаза, а взглядом косящим, уклоняющимся, т.е. скорее следящим сбоку и в сторону, чем «взглядом говорящим». «Иван Антонович уже запустил один глаз назад и оглянул их искоса...»; «...уснащивал он речь тоже довольно удачно подмаргиванием, прищуриванием одного глаза, что придавало весьма едкое выражение многим его сатирическим намекам»; «Когда Чичиков взглянул *искоса* на Собакевича, он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя <...> Чичиков еще раз взглянул на него *искоса*, когда проходили они столовую: медведь! совершенный медведь!» Потом Собакевич видится Чичикову и как темного цвета дрозд, и как ореховое пузатое бюро («Мертвые души») <sup>1</sup>.

Все, отмечает Подорога, косят в гоголевском мире, никто не смотрит прямо. Косоглазие Гоголя, «не смотреть в глаза» — оказывается особенной чертой и поведением персонажей. «Но что подсказывает *косоглазие*? Конечно, оно — не просто дефект зрения. Важно признать, что пространство обмена взглядами устроено как-то по-иному, чем мы это можем предположить. Косоглазие — следствие со-расположения фигур персонажей. Персонажи лишены объема, автономии и движения, не имеют точно определенной позиции, «места», они силуэты-на-фоне. Каждый персонаж косит, потому что видит одним глазом, так видит птица, перемещая взгляд вдоль доступного ей радиуса обзора, то так, то эдак. Гоголь подражает не человеческому взгляду, а птичьему, и потому что не знает «человеческий взгляд». Может быть, гоголевское пространство оттого и плоское, что одноглазое, не имеет интуиции глубины. Иначе говоря, видеть одним глазом более привычно, ведь тут хватает и «птичьей» локомоции. Косить, избегать прямого взгляда, это, в сущности, оставаться в неподвижной позиции. Речь идет об анаморфозах, иначе, о том, как и на что смотреть: издалека, чуть сбоку или вблизи, чуть снизу или чуть сверху, или уж совсем взять боковым зрением под самым острым углом, забраться наверх, опуститься вниз, «косить» левым глазом или правым — именно в таких вот зрительных профилях («оптических эквивалентах») и раскрывается видимое, обычному зрению недоступное. Можно сказать, именно то «слепое пятно», которое не ухватывается, но всегда сопровождает зрительный акт, удерживая на себе внимание» <sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> «— Знаешь ли ты, — спросил Сократ, — для чего нам нужны глаза?

— Понятно, — отвечал он, — для того, чтобы видеть.

— В таком случае мои глаза, пожалуй, будут прекраснее твоих.

— Почему же?

— Потому что твои видят только прямо, а мои вкось, так как они навывкате.

— Судя по твоим словам, — сказал Критобул, — у рака глаза лучше, чем у всех животных?

— Несомненно, — отвечал Сократ, — потому что в отношении силы зрения у него от природы превосходные глаза» (Ксенофонт. Сократические сочинения. СПб., 1993. Пир. Гл. 5).

<sup>2</sup> Подорога В.А. Мимезис. Материалы по аналитической антропологии литературы. Т. 1. М., 2006. С. 180–181. Современная физиология утверждает, что основная масса чувствительных к слабому свету и ахроматическим цветам фоторецепторов (палочек) расположена на периферии сетчатки глаза, куда могут падать лучи от предметов, расположенных на каком-то расстоянии (сбоку, снизу, сверху) от оси нашего зрения. Вот почему, когда едешь на велосипеде без фонаря по широкой, гладкой и асфальтированной дороге в глубокие сумерки или ночью, ты лучше различаешь гладкую поверхность дороги с

Согласно Я. Голосовкеру, круглый глаз Киклопа — это прямолинейное или одностороннее виденье, тупо упершееся в одну точку. Одноглазое зрение — духовно-слепое зрение. Но и тысячеглазый Аргус оказался слепым пред глубоким виденьем-знанием Гермеса. Этим внешнее зрение исчерпывается. Нужен переход к внутреннему зрению, переключение смысла. И возникает образ мудрого Эдипа — сперва зрячего слепца, а затем слепого провидца (ясновидящего).

В мифологических образах Эдипа в Колоне и Тиресия, в этих олицетворениях «зрячей слепоты» виденье открывается нам как «веденье». В мифе возникает идея замещения мнимой пронизательности утраченного органа зрения (глаза). Глаза смертного, будь он даже герой, покрывает темная пелена. Поэтому он видит предельно: мир богов и образ бессмертных остаются для него невидимыми. «Но как только бог на мгновение сорвет с его глаз темную пелену, герой увидит богов и мир богов, и самый образ бессмертного бога даже против воли этого бога, если герою содействует более могущественный бог — так говорит Гомер»<sup>1</sup>.

По мифу, когда бог снимает с глаз смертного пелену мрака, смертный бросает более глубокий взгляд на бытие — взгляд божества. Таков час просветления. С глаз начинается магическое лицезрение, узнавание и оживление мира. Но нужны особые глаза, особое видение, которым обладает только человек. Потому что когда на нас смотрит природа, вдруг ожившая, получившая глаза — это колдовство, бесовщина, это Вий, которому подняли веки. Отсюда — «Не гляди!», ибо взглянуть — значит умереть<sup>2</sup>.

Животное смотрит, но не видит так, как видит человек, не обладает человеческим взглядом, ни одно животное не выдерживает человеческого взгляда. Все, что не будучи человеческим, смотрит — вызывает ощущение потусторонней жути. Отсюда древний запрет на обнаружение лица, на прорезание и оживление глаз на портретах и фигурах. «У первобытных статуэток эпохи палеолита отсутствуют глаза, порою — несмотря на довольно разработанные физиономические подробности, порою же — вместе с невнятным, как бы изъятым, предусмотрительно и нарочито затертым или стесанным лицом (для того, чтобы оно не смотрело и соответственно не оживало кому-либо на беду и до срока). Появление глаз совпадало с наличием в камне души и жизни, с его переходом в состояние полноценного человека ли, беса ли. Древнее священнодействие по оживлению истукана посредством нанесения признаков лица и, особенно, глаз, — методом от обратного — восстанавливается с помощью кукол, абсолютно безглазых, а иногда и безликих, существовавших до последнего времени у ненцев, хантов, якутов и др. народов. Соответственно, рисование глаз было связано с воскрешением прежде мертвой фигурки»<sup>3</sup>.

---

боков, чем впереди себя. То есть, боковое, косвенное зрение чаще оказывается более точным и результативным. Тренированное боковое зрение количественно и качественно расширяет диапазон воспринимаемой информации и в этом плане открывает новые возможности, неожиданные по результативности (См., например: <http://home.damotvet.ru/kids/818978.htm>).

<sup>1</sup> Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М., 1987. С. 53.

<sup>2</sup> «Вот почему глаз косящий, не прямой, отклоняющийся от упертого взгляда Другого, и есть глаз жизни» (Подорога В.А. Мимесис. С. 277).

<sup>3</sup> Терц А. В тени Гоголя. С. 384. «Безликость деревенской куклы — пережиток анимистических воззрений славян: кукла без лица считалась предметом неодушевленным, недоступным для вселения в него злых духов и, значит, в любом случае безвредным для ребенка. Кукла должна была приносить своей маленькой хозяйке благополучие, радость жизни и здоровье, а не служить вместилищем злых духов. В доме не должно быть лишних глаз, ведь глаза, нос, рот, уши, даже нарисованные, — все рав-

Совсем иное дело взгляд человеческий, встреча двух пар глаз — здесь уже не просто смотрение, не просто видение чего-либо внешнего, но таинство откровения. Знание, основанное на откровении, писал С. Франк, резко отличается от обычного типа знания, прежде всего потому, что здесь идет речь об откровении непостижимого; то, что при этом открывается, не перестает быть непостижимым, оно открывается в своей непостижимости. Другой не перестает быть для нас тайной, но это явленная тайна, которая соприкасается со мной, вторгается в меня, мной переживается через ее активное воздействие на меня. Все это дано уже в любом чужом взоре, направленном на меня, в тайне живых человеческих глаз, на меня устремленных. «Встреча двух пар глаз, скрещение двух взоров — то, с чего начинается всякая любовь и дружба, но и всякая вражда, — всякое вообще, хотя бы самое беглое и поверхностное «общение» — это самое обычное, повседневное явление есть, однако, для того, кто хоть раз над ним задумался, вместе с тем одно из самых таинственных явлений человеческой жизни, — вернее, наиболее конкретное обнаружение *вечной тайны*, образующей самое существо человеческой жизни. В этом явлении совершается подлинное чудо: чудо *трансцендирования* непосредственного самобытия за пределы себя самого, взаимного самораскрытия друг для друга двух — в иных отношениях замкнутых в себе и только для самих себя сущих — носителей бытия»<sup>1</sup>.

Однако такое откровение возможно не только при встрече двух пар глаз, оно неявно содержится в любом взгляде человека на мир. Каждая вещь ведет игру с сознанием. Каждая вещь есть вещь в себе. Она таинственна и неисчерпаема, как таинственен и неисчерпаем реальный мир, когда он сталкивается с нашим сознанием, в этом столкновении они взаимно обогащают друг друга. Повседневность фантастичнее любой фантастики, сказочнее любой сказки, экзотичнее — если в нее взглядеться — самой изысканной экзотики. Только прямым взглядом этого увидеть невозможно. «Косвенным зрением, — писал П. Флоренский, — иногда улавливаешь такие подробности и оттенки, которые недоступны взору прямому: между прочим — услышишь часто главнейшее; со звуками смеха порою прорывается такая тайна души, которая не обнаружит себя ни на какой исповеди; в бесконечно милых метафизически-родных складках или поворотах церковных песнопений прозвучит нередко такая абсолютность смысла, достаточно подчеркнуть которую не сумеет ни один догматист. Так и в философской системе блеснет часто такой глубокий мотив к ее принятию или отвержению ее, такой луч жизни и улыбка постижения, которые не выразишь ни пером, ни словом. Блеснет же обычно в какой-нибудь подробности, в сочинении нескольких слов, в придаточном, так сказать, предложении, чаще же всего — просто в отдельном термине. И блеснувшее это — часто не только ново, неожиданно и нечаянно, но даже противоречит прямым фор-

---

но есть врата, через которые происходит связь с космическими силами, светлыми и темными, следовательно, лучше не открывать эти врата» (Дайн Г.Л., Дайн М.Б. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология. М., Культура и традиции, 2007. С. 18–23).

<sup>1</sup> Франк С. Непостижимое. С. 354. «Взгляд, — писал Ортега-и-Гассет, — не просто исходит изнутри, он позволяет судить о своей глубине. Именно поэтому для влюбленного нет ничего приятнее первого взгляда возлюбленной. Однако надо быть начеку. Если бы мужчины умели измерять глубину женского взора, многих мучительных ошибок удалось бы избежать. Иногда первый взгляд бросают, будто подают милостыню. Его едва хватает на то, чтобы быть взглядом — и только. А бывает и другой, исходящий из самых глубин сокровенного, из недр женственности. Он словно всплывает со дня океана (Ортега-и-Гассет Х. Человек и люди. Пер. Л.Е. Яковлевой // Избранные труды. М., 1997. С. 544).

мальным заявлениям автора системы: однако будучи в формальном противоречии с ними, одно только и объясняет их, в их совокупности. Непреодолимая уверенность охватывает исследователя, что найдены корни мысли...»<sup>1</sup>

Способность к боковому, объемному, метафизическому видению делает человека художником, могущим видеть другие миры. Живопись дает видимое бытие тому, что обычное заурядное зрение полагает невидимым, она делает так, что нам уже не нужно «мышечного чувства», чтобы обладать объемностью мира. Это всепоглощающее зрение, находящееся по ту сторону визуальных данных, открыто на ткань бытия, в которой свидетельства чувств расставляют лишь пунктирные линии или цезуры и которую глаз обживает, как человек свой дом. Видимое, взятое в обыденном смысле, забывает свои предпосылки: в действительности оно покоится на полной и цельной зримости, которая подлежит воссозданию и которая высвобождает содержащиеся в ней призраки. Мы видим больше, чем нам предлагает физиология нашего глаза, его разрешающие способности. Глаз художника способен к метафизическому видению, к открытию внутренней невидимой сущности вещи, к выражению всех нюансов, оттенков, охватить и учесть которые просто невозможно, если исходить из физиологических или анатомических возможностей зрения. Художник видит не просто вещи, но то, что делает вещи вещами, видит атмосферу, в которую они погружены, атмосферу жизненного мира, которая есть самое непосредственное выражение бытия. Так, Моцарт, по утверждению его современников, видел всю свою симфонию сразу, видел во всем ее объеме и целостности, как видят яблоко, лежащее на ладони.

Живопись очень выпукло открывает загадочные свойства нашей способности видеть. Обычный вопрос о том, где находится картина, на которую я смотрю, вызывает большие трудности. Потому что я не рассматриваю ее, как рассматривают вещь, я не фиксирую ее в том месте, где она расположена, мой взгляд блуждает и теряется в ней, как в нимбах бытия, и я вижу, скорее, не ее, но сообразно ей, или с ее участием<sup>2</sup>.

Мы видим не картину, а с помощью картины. Наша чувственность, в данном случае наша способность видеть, есть продукт искусства. То «мгновение мира», отмечал М. Мерло-Понти, которое Сезанн хотел запечатлеть и которое давно уже принадлежит прошлому, его картины продолжают из нас извлекать, и его гора Сент-Виктуар вновь и вновь обретает существование по всему миру — иное, но не менее полноценное, чем среди суровых скал близ Экса. Сущность и существование, воображаемое и реальное, видимое и невидимое, — живопись смешивает все наши категории, раскрывая свой призрачный универсум чувственно-телесных сущностей, обладающих действительностью, и немых значений. Живопись пробуждает в обыденном видении дремлющие силы, тайну предсуществования.

В этом смысле самое главное мы видим не глазами, можно даже сказать, что мы вообще видим не глазами. Глаз не есть дух, это — материальный орган. Он не способен без моего воображения дистанцироваться от мира. Он видит только впрямую. Но с помощью мысли он может видеть косвенно, косить, видеть то, что глазу как физиологическому органу не дано. Но видеть косвенно — значит видеть самое главное, значит вообще видеть. «Так что нельзя сказать, что человек видит, поскольку он есть Дух, или

<sup>1</sup> Флоренский П.А. Философия культа // Богословские труды. № 17. 1977. С. 121.

<sup>2</sup> См.: Мерло-Понти М. Око и дух. Пер. А. Густыря. М., 1992. С. 17.

что он есть Дух, поскольку видит: видеть так, как видит человек, и быть Духом — это синонимы»<sup>1</sup>.

Проблема косвенного, непрямого видения непосредственно связана с проблемой соотношения понимания и знания. Глядя прямо, ничего нельзя увидеть, ничего нельзя понять. И здесь дух серьезности мешает увидеть, что невозможна внешняя, прямая передача понимания. Можно передать знание, но знание без понимания мертво. Например, у естественного человека, все принимающего всерьез, свое понимание Бога, своя специфическая вера. Ему нужно, чтобы Бог прямо и непосредственно явился ему, помог или исполнил какие-нибудь просьбы. То, что Бог открывается только через углубление во внутреннюю жизнь, находится в интимной глубине сердца — это для естественного человека слишком сложно для понимания. На самом деле, прямое отношение к Богу, писал С. Кьеркегор, это — язычество, балансирующее на грани между верой и безверием. Бог присутствует в своем творении, присутствует повсюду, но нигде и никогда не присутствует прямо. Однако вера естественного человека может поддерживаться лишь с помощью чуда непосредственного явления Бога, прямого отношения Бога к человеку, как отношения чего-то примечательного и поразительного к наивному сознанию. Вот если бы, скажем, Бог принял бы образ редкостной огромной зеленой птицы с красным клювом, птицы, которая к тому же время от времени посвистывала самым необычным образом, тогда человек почувствовал бы, что у него открылись глаза. «Хитрость же состоит в том, что Бог совершенно ничем не примечателен, что в Боге нет ровным счетом ничего примечательного, — более того, он настолько лишен примечательности, что попросту невидим, так что мы можем и не подозревать о том, что он тут присутствует, хотя его невидимость и есть, в свою очередь, то же самое, что его вездесущность»<sup>2</sup>.

Понимание нельзя передать другому, если попытаться сообщить нечто подобное в качестве знания, адресат по ошибке решит, что он получает тут нечто, что нужно узнать, — и тогда мы вернемся все к тому же знанию. Понимание не передается через прямое отношение, через сообщение некоторых результатов познания самого себя от одного человека к другому. Если внутреннее и есть истина, результаты — это всего лишь ерунда, и нам не стоит беспокоить друг друга передачей и сообщением этих результатов. Вообще желание передать некий результат, считает Кьеркегор, — это совершенно неестественное отношение одного человека к другому, поскольку всякий человек есть дух, а истина есть собственная деятельность этого духа по присвоению некой сущности; готовый результат тут может только помешать. «Истина — это не какой-то там циркуляр, на котором все должны поставить свои подписи, но непреходящая ценность (*valore intrinseco*) внутренней глубины человека»<sup>3</sup>.

Нет никаких спрятанных истин, которые можно обнаружить, или которым можно научить, передать их путем воспитания или образования. Если истина — это я сам в своем оригинальном опыте, в своем мучительном и невероятно трудном пути познания себя, своего внутреннего, то ничему действительно серьезному и глубокому научить нельзя. Никому ведь не приходит в голову, рассуждает Кьеркегор, пожаловаться на Бо-

<sup>1</sup> Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. Пер. А. Шестакова. СПб., 1999. С. 184. «У мудрого глаза его в голове его, А глупый ходит во тьме» (Эккл.2:14).

<sup>2</sup> Кьеркегор С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам». Пер. И. Исаева. СПб., 2005. С. 265.

<sup>3</sup> Там же. С. 262.

га, который, будучи вечным духом и источником всякого производного духа, легко мог бы сообщить людям истину и вступить с ним самим в прямое отношение. Но человек открывает Бога только внутри себя, через внутренне напряжение, только так он ощущает Бога и становится способен видеть его. А прямое отношение — это чистое недоразумение. Только порвав с таким примитивным пониманием, начинаешь открывать в себе внутреннее. Начинаешь понимать, что если Бог есть Бог живых, то нужно и самому быть живым, существующим, самому быть истиной, которая живет внутри тебя, а не спрятана где-то в окружающем мире. «Почему же Бог так уклончив? Как раз потому, что он есть истина, и подобная уклончивость спасает человека от неистинного. Наблюдатель уже не соскальзывает прямо к результату, но сам вынужден заботиться о том, чтобы найти этот результат, — и тем самым разорвать всякое прямое отношение. Однако такой разрыв есть вместе с тем действительный прорыв внутреннего, движение собственной активности человека есть первое определение истины как внутреннего»<sup>1</sup>.

Прямое отношение между человеком глубоко духовным и наивным необразованным человеком, прямая передача своих знаний и мудрых мыслей другому, невозможны. Всякий раз, когда полагают такое возможным, это означает, что одно из действующих лиц перестало быть духом. Многие гении, писал Кьеркегор, которые будто бы помогают людям массы прийти к истине, считают аплодисменты, готовность слушать, просьбы об автографах и тому подобное принятием этой истины. «Способ, которым усваивается истина, ровно настолько же важен, как и сама истина, да что там, из них двоих он, пожалуй, даже важнее, — и что толку оттого, что миллионы принимают истину, если в силу самого способа ее принятия миллионы эти оказываются в сфере неистинного. А потому всякое добродушие, всякие уговоры, всякая торговля, всякие попытки привлечь внимание толпы непосредственно, с помощью собственной личности, все повествования о том, какие страдания ты претерпел ради этого благородного дела, все слезы, пролитые о судьбах человечества, все воодушевление и тому подобное, — все это попросту недоразумение, а по отношению к истине — всего лишь подделка, благодаря которой можно, соответственно уровню своих способностей, помочь большему или меньшему числу людей обрести видимость истины»<sup>2</sup>.

Попытка прямой передачи понимания подобна прямолинейному или однобокому видению, тупо упершемся в одну точку. Сократ никогда не говорил прямо, а всегда намеками, парадоксами, которые ставили в тупик собеседника, заставляя его думать и самому приходиться к той или иной мысли. Даже его внешний вид, которым он был весьма доволен, — а он был уродлив, — помогал ему в его деятельности, помогал держать ученика на расстоянии, не соблазнял ученика к прямому отношению, не позволял ему восхищаться учителем и подражать ему.

Все великие учителя человечества и, прежде всего, религиозные пророки, как правило, говорили притчами, иносказательно, дабы слушающий их мог понять настолько, насколько позволяла ему его внутренняя развитость. Косвенность всегда предполагает усложнение смысла, всегда подразумевает, что в словах содержится больше смысла, чем непосредственно сказано.

Из всего сказанного можно сделать вывод: параллельный мир может быть открыт при взгляде искоса, будь то художественная интуиция, религиозный экстаз или

---

<sup>1</sup> Там же. С. 263.

<sup>2</sup> Там же. С. 267.



состояние отчаяния, вызванные бессмыслицей существования. И мы никогда не сможем сказать: действительно ли мы видим другой мир, или это только наше воображение, ибо он присутствует для нас косвенно. Но поскольку он все-таки открывается, наша жизнь получает совсем другой смысл, иную наполненность.

Нам представляется, что проблема косвенного видения непосредственно связана с проблемой идеального. Идеально только то, что дано косвенно. Все остальное реально: вещи, мысль, прямое видение. Только с помощью косвенного видения можно дистанцироваться от предметов, увидеть вещи в перспективе иначе-видения, увидеть другие миры, которые обладают такой же силой существования, как и наш реальный мир. Без идеального мы в плену у логики окружающего мира, он навязывает нам видение и понимание самого себя, мы им заколдованы. Идеальное вовсе не абстрагирование от реального, не наиболее общее понятие. Идеальное постоянно скрывается, исчезает для сознания, ускользает в понятие, в реальное. Эту иллюзию, что идеальные предметы, в нашем случае миры, не обладают бытием, можно, полагал Н. Гартман, разоблачить, но не устранить.<sup>1</sup> Если нет идеального бытия, то невозможно различить сознание и вещь, остается только говорить о субъективном образе объективного мира. При этом имеется в виду только «реальный мир», все остальные миры либо исчезают, либо считаются нереальными, ирреальными, т.е. несуществующими. Идеальное открывается для нас только через искусство, через то искусство, которое является не украшением, а органом жизни. Открывать другие миры, быть художником собственной жизни — это, видимо, и есть главное призвание человека. «В этом смысле жизнь наша, как реальная жизнь, есть только нами самими осуществляемый перевод того, что в нас запечатлено. И эта жизнь есть искусство. Или литература»<sup>2</sup>. Здесь об искусстве говорится не только в том смысле, что можно попытаться происшедшее выразить в стихах или прозе (это тоже важная, но не всем доступная возможность), но и в том смысле, что можно жить опытом искусства: я переживаю смерть, разлуку, одиночество (это я их переживаю, а не они со мной случаются). Можно расстаться с человеком, зная, что никогда его больше не увидишь, и постепенно забыть его. А можно из этого сделать трагедию: жизнь так коротка, так мало людей, с которыми существует душевная связь. Расставание подобно грустной мелодии, которая всегда звучит при воспоминании об этом человеке; расставание подобно смерти, которая коснулась своим крылом, провела невидимую черту между нами.

Человеку все самое главное в его жизни дано косвенно. Любовь — только косвенный продукт непосредственных физических и психических отношений. Для огромного большинства живущих любви нет и никогда не было. В. Соловьев писал, что любовь для человека — что разум для животного — только смутно брезжащая возможность. Творчество многих поэтов и писателей — это попытка описать ту невстретившуюся женщину и ту несостоявшуюся любовь, которую нельзя найти и удержать в каких-либо мирских бытовых условиях. Любовь велика своей невозможностью. «Любовь инстинктивно самозащитно отталкивает свое реальное осуществление — чтобы пребыть: уже вечно существовать в тоске, воспоминании, что “счастье было так близко, так возможно”»<sup>3</sup>. Любовь существует как вечная рана в сердце. И в этой взаимной боли

<sup>1</sup> См.: Гартман Н. К основоположению онтологии. Пер. Ю.В. Медведева. СПб., 2003. С. 547.

<sup>2</sup> Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте. М., 1995. С. 161.

<sup>3</sup> Гачев Г. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. М., 1995. С. 254.

и божественном несчастье любящие неизменно и вечно принадлежат друг другу. Но существуют они только косвенно, не в этом мире, а если нет этой косвенности, если нет другого мира (или миров), тогда вообще ничего нет, кроме бессмысленного хаоса круговращений обыденной жизни.

Смерти тоже непосредственно никогда нет, это всегда смерть другого человека, я могу знать о ней только косвенно. Этой своей косвенностью, неуловимостью она и ужасает. И вся наша жизнь — только подготовка к смерти, с которой мы так никогда напрямую не сталкиваемся. «...Любовь может длиться только как подготовка своего исчезновения, как подражание разрыву. Когда мы воображаем, что нам хватит жизни на то, чтобы увидеть собственными глазами, что произойдет с теми, кого мы потеряли — это-то и является состоянием любви как смерти»<sup>1</sup>.

Человек как существо, способное к открытию идеального, есть существо косвенное. Он, как правило, ничего не хочет видеть или принимать всерьез, как нечто окончательное и устоявшееся, во всем ищет намеки, полутона, нюансы, твердо веря в то, что «черт прячется в деталях». Он всегда хочет увидеть больше, чем ему непосредственно предлагают, всегда верит, что миров много, и в каждом из них ему хочется побывать, уверен — все, что он делает, это только косвенные свидетельства того главного дела, которое у него пока не получается и возможно никогда не получится<sup>2</sup>. Любовь, смерть, совесть, счастье существуют только в параллельных мирах, они даны только косвенно.

Складывается впечатление, что сам человек как таковой — лишь косвенный продукт Божьего замысла о себе, что он — Великое обещание, обещает, но никогда не реализуется полностью ни в одном из миров. Видимо, Богом задумывалось что-то грандиозное, но не получилось. Или пропало желание. Поэтому нет у человека никаких гарантий успешной жизни, нет твердо определенного набора свойств и способностей, он не предназначен ни к какому конкретному виду деятельности. Есть только вечные безответные вопросы: что он должен делать и на что надеяться?

---

<sup>1</sup> Делез Ж. Марсель Пруст и знаки. Пер. Е.Г. Соколова. СПб., 1999. С. 44.

<sup>2</sup> «...Всегда останется нечто,— размышлял над этой проблемой Ф. Н. Достоевский, — что ни за что не захочет выйти из-под вашего черепа и останется при вас навеки; с тем вы и умрете, не передав никому, может быть, самого-то главного из вашей идеи» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30-ти т. М., 1973. Т. 8. С. 328).